

Д

етство и юность Леонида Андреева прошли в родном доме на улице 2-й Пушкарной в Орле. Уже будучи известным, он вспоминал: «Давно это было, давно. Я жил в городе, в котором есть природа, и отсюда понятно, что город этот не был Москвой. В том городе были широкие, безлюдные, тихие улицы, пустынные, как поле, площади и густые, как леса, сады. Летом город замирал от зноя и был тих, мечтателен и блаженно-недвижен, как отдыхающий турок; зимой его покрывала густая пелена снега, пушистого, белого, мертвенно-прекрасного. Он высокими белыми горами лежал на крышах, подходил к самым окнам низеньких домов и немой тишиной наполнял весь город».

Уроженец орловской Пушкарной слободы, Андреев писал об этой части губернского города и о величественном храме Михаила Архангела (здесь венчались родители, здесь крестили его самого) в рассказах «Весенние обещания», «Молчание»... На Пушкарных, Посадских улицах, в прилегающей к ним Стрелецкой слободе поселил он своих мальчишек («Ангелочек» и «Гостинец»), героев рассказов «Весной», «Алеша-дурачок», «Буяниха», «На реке», пьесы «Младость», романа «Сашка Жегулев».

Да и сам литературный дебют Андреева состоялся благодаря этим же орловским реалиям. Весной 1898 года по просьбе редакции московской газеты «Курьер» молодой помощник присяжного поверенного Леонид Андреев написал для пасхального номера рассказ «Баргамот и Гараська». Эта история об орловском городском и его подопечном открыла путь к литературной славе. И этот же рассказ создал еще одну орловскую достопримечательность. Откроем томик Андреева:

«Часу в десятом теплого весеннего вечера Баргамот стоял на своем обычном посту, на углу Пушкарной и 3-й Посадской улиц. Настроение Баргамота было скверное. Завтра светлое Христово воскресенье, сейчас люди пойдут в церковь, а ему стоять на дежурстве до трех часов ночи, только к разговинам домой попадешь...»

Леонид Андреев родился 9 (21) августа 1871 года. Еще на страницах юношеского дневника он написал, что его отец Николай Иванович Андреев «был незаконнорожденным сыном некоего Карпова, представлявшего собой чистейший тип русского большого барина и хлебосола, бывшего одно время предводителем орловского дворянства и погибшего от своей излишней склонности к женщинам, одной из которых, Барышниковой, своей брошенной любовницей, он был отравлен. История его связи с моей бабушкой проста: он был помещик, она крепостная девушка-красавица, она ему понравилась, и через девять месяцев на свет явился мой отец. Впрочем, как говорят, он очень любил бабушку, и даже собирался жениться, да судьба, как водится, помешала: ради поправления своих расстроенных финансов и поддержания дворянской чести ему пришлось жениться на каком-то урде, все достоинство которого состояло в ста тысячах приданого. Бабушку он для очистки совести выдал за какого-то сапожника и, давши отцу кое-какое образование, умер. Отец мой окончил сперва курс в уездном училище, а потом, хотя его прочили в университет, он последовал своей склонности к подвижной жизни, сделался землемером».

В двадцать три года Николай Иванович женился по любви на бедной 19-летней Насте Пацковской. В акте от 25 октября 1870 года, подтверждавшем брачный союз, было записано: «Жених — мещанин, в звании частного землемера и таксатора, Николай Иванов Андреев православного вероисповедания жительствоует в приходе нашей церкви. Невеста — дочь умершего Губернского Секретаря Николая Гаврилова Пацковского девица Анастасия Николаева православного вероисповедания. Возраст к супружеству имеют совершенный...»

Анастасия, по семейному преданию, происходила из обрусевшего и обедневшего польского дворянского рода, в Орел переехала из уездного Севска — на попечение старшего брата Николая, который «исполнял все ее прихоти... По природе была веселая, живая, но иногда в недоумении и страхе останавливалась перед картинами, созданными ее же фантазией... Обладала очень тонким умом и большой наблюдательностью. В решении практических вопросов была очень плоха... Она была добра, безобидна и, как мать, героична».

Леонид Андреев с вниманием и любовью относился к своим предкам. С юмором писал он о себе в одном из писем в конце жизни: «Оказалось, что причиной развинченности является российский сепаратизм, расколовший мою дотолу единую личность так же, как раскола Россия: отделение Польши, Украины, Финляндии и прочего — вызвало во мне соответствующие сепарации. По отцу — я великоросс; по матери и деду — поляк; по бабке и всему ее роду (Кулиш. — А.К.) я — хохол; по месту оседлости — финн. Далее, по деду с отцовской стороны (орловский предводитель дворянства. — А.К.) — я помещик, крупный землевладелец, буржуй; по бабке — крепостной беднейший крестьянин, эксплуатируемый класс, почти батрак.

До сих пор эти весьма разнородные национальные, государственные и классо-



Леонид Андреев

вые элементы довольно мирно уживались во мне под единой фирмой Л. Андреева, и все шестеро: великоросс, поляк, хохол, финн, буржуй и батрак дружески ходили в кабаки или рестораны. И там поляк плясал мазурку, хохол спал головой на столе, помещик привередничал, а беднейший крестьянин производил умеренный погром, великоросс же потом расплачивался по счету или производил иностранный заем. Так жили мы все шестеро, а, может, и больше, так как по некоторым свойствам моей личности надо думать, что во мне есть и жид...»

Если в год рождения Леонида отец служил на железной дороге, получая пятнадцать рублей в месяц, то вскоре поступил на службу в городской общественный банк. Новое жалованье позволило уйти со съемной квартиры, купить участок на 2-й Пушкарной улице и вскоре построить собственный добротный дом. Появился и прекрасный сад, за которым с любовью ухаживал глава большого

семейства. В середине 1880-х годов банк лопнул, доходы резко сократились, но, пока Николай Иванович был жив, семья особой нужды не знала.

Отец сыграл, пожалуй, определяющую роль в становлении личности Леонида Андреева. «Как-то я сказал Леониду, — вспоминал его брат Андрей в 1913 году, — как мне обидно за отцов, которые умерли, когда их сыновья — будущие писатели — еще дети. Отец Толстого умер, когда Левочке было всего девять лет. И он даже не подозревал... Как жалко, что наш отец умер так рано.

Леонид ответил так:

— Не совсем так. Отец будущность мою предвидел настолько, что считаю его первым поклонником моего таланта. Не могу сказать, в чем это выразалось явно, но отец как-то выделял меня среди других, и не только любовью. Обычно самовластный, резкий, он был со мной уступчив, почти вежлив; какая-то тень почтительности и уважения проскальзывала в его ко мне отношениях».

Удивительно, но отец видел в сыне даже куда большие способности, чем проявились в итоге. В финале того разговора с братом знаменитый писатель, обогнавший всех по тиражам своих книг, подытожил: «Если бы он сейчас воскрес и увидел бы, что есть, он нисколько не удивился бы. Скорее даже, что отнесся бы так: только-то? Я ожидал несколько большего».

Современникам Николай Иванович запомнился высоким и тучным человеком, внешне строгим и даже суровым. «Помню кулачные бои, — писала сестра писателя Римма Андреева. — Слобода шла на пушкарей. В драке принимали участие человек до 100, а то и более. Драку обычно начинали мальчишки, и заканчивали ее уже взрослые. Отец из окон нашего дома любил смотреть на эти «турниры», и часто, стоя вместе с ним, я взглядывала то на дерущихся, то на лицо отца. Постепенно его веселое лицо становилось все суровее. Наконец, он не выдерживал, отстранял меня и выходил на крыльцо. Иногда его появление прекращало бой; когда же это не оказывало должного впечатления, он врезывался в толпу дерущихся и своим личным вмешательством прекращал драку. Леонида я никогда не видала во время этих боев, ни при отце, ни на улице, но знаю, что бои эти он видел, и они оставили на нем впечатление незабываемое на всю жизнь».

А вот воспоминания сына Павла: «Был чужд каких-либо мистических или религиозных настроений. В жизни увлекался строительством. Он всю жизнь строил, перестраивал, пристраивал. В начале своей самостоятельной жизни был беден, к концу жизни если и не богат, то обладал, во всяком случае, большим достатком. Жил он самой широкой и свободной жизнью, совершенно не считался с мнением общества. На своей Пушкинской улице был “царьком”. Его уважали за честный и прямой характер, в то же время сильно побаивались его физической силы, которую не один пушкарь испытал на себе. К тридцати годам он стал пить, пить запоем. Тогда все в доме становилось вверх дном. Тащились из погребов вина, ведрами пиво, и весь дом наполнялся гостями, проводившими с ним пьяные и бессонные ночи... Ходил он всегда в красной русской рубашке, в черных, в сапоги, шароварах, а поверх — поддевка. На голове — картуз».

По словам самого Леонида Андреева, отец «обладал большим умом, хотя исключительно практическим, так как развит он, собственно, не был». В «Автобиографической справке» 1910 года писал: «Покойный отец мой был человеком ясного ума, сильной воли и огромного бесстрашия, но к художественному творчеству в какой бы то ни было форме склонности не имел. Книги, однако, любил и читал много, к природе же относился с глубочайшим вниманием и той проникновенной любовью, источник которой находился в его мужицко-помещичьей крови. Был хорошим садоводом, всю жизнь мечтал о деревне, но умер в городе».

Очевидно, что творческое начало в будущем писателе — от матери, которая страстно любила первенца. Она научила его фантазировать, часто брала с собой на спектакли, увлекла рисованием. Павел Андреев вспоминал: «На реку в летние жаркие дни ходила всегда с ним сама, причем веревкой привязывала его за ногу или за талию, как поросенка, и тогда только пускала его в воду; но тотчас же тянула обратно за веревку, когда Леонид, как ей казалось, уходил очень далеко. А река в том месте была что ручеек, и все мальчишки вброд, по щиколку, переходили через нее».

Леонид Андреев позднее запишет в дневнике, сравнивая дом детства с писательской дачей: «Я помню мои детские впечатления огромности от орловского дома и сада, хотя и дом и сад были очень небольшие: шесть комнат из десяти свободно уместятся в одном моем кабинете. Помню, что в течение многих лет я все еще не мог исследовать, как следует, все таинственные углы, чердаки, подвалы и сараи, привыкнуть ко всем заворотам, каждый раз открывающим новый пейзаж, пересмотреть все вещи (сломанные лопаты, брошенные бутылки, обломки чего-то). Взрослые называли это одним словом “мусор”, а для меня каждый ржавый гвоздь имел свое лицо и подразумеваемое имя. И, конечно, отец сам не знал, какой красивый и необыкновенный вид имеет его кабинет, если смотреть на него из-под стола. Маленькие размеры тела (и, к счастью, отсутствие надзора) позволяли мне проникать в такие закоулки, куда, действительно, ни один взрослый попасть не мог».

И вот еще воспоминание о детстве: «Было мне тогда всего 7 лет. Был я постоянно сосредоточен и важен, черен, как сапожное голенище, и дик, как волчонок. Повела меня мать раз в город, пленных, кажется, турок посмотреть. У одних ворот — я и сейчас помню эти ворота — стояла целая кучка их. Увидели они меня и, как рассказывает мать, пришли в великий восторг. Ухватили на руки, целуют, передают друг другу и лопочут что-то по-своему; один гладит по голове, другой стал передо мной на корточки, не налюбуется на меня; потом обратились к матери, говорят ей, должно быть, что вот и у них дома такие остались, и руками от земли показывают. Я в свою очередь несколько не потерялся и, с самым важным и невозмутимым видом, принимал их ласки, как будто оно так и быть должно. Одним словом, никогда в жизни не имел я такого успеха у людей — и никогда не

до ставлял им столько счастья, среди отворванных от семьи и всего родного, заброшенных на далекую чужбину турок. Дома потом смеялись над этим и звали меня турчонком».

В пять лет Леонид научился читать, лет с семи записался в библиотеку. Один из братьев вспоминал: «В каталоге он сам отыскивал подходящие книги, какими являлись лишь удовлетворявшие двум условиям: если было у них пыльное название и если цена книги не была меньше рубля. Тонких книжонок терпеть не мог. Больше всего читал Купера, Майн Рида, Жюль Верна и других экзотических романистов».

Подражая литературным героям, юный книголюб «с яростью рубил головы ненавистным врагам — ни в чем не повинным подсолнечникам, и с опасностью расквашить нос спасал откуда-нибудь из погребца красавицу-царевну, роль какой за неимением подходящего лица играла пустая бочка». Рыцарские турниры, путешествия, налеты индейцев — таким был «идеальный» мир детства Леонида. Окружал же его куда более реальный мир городской окраины. Вот как вспоминал Павел Андреев: «Улица находилась на самом краю города и трудно была проходима от сугробов снега зимой, осенью — от грязи. Зато весной она покрывалась вся зеленым ковром, по которому в большом количестве бродили куры, гуси, свиньи. И с этого же времени вплоть до глубокой осени жители этой улицы все свое свободное время проводили на ней. Это было самое горячее и живое время года, длившееся ровно шесть месяцев. Здесь можно было видеть похоронные и свадебные процессии, драки, набеги на чужие огороды и сады... Народные праздники, как, например, “Мокрый спас”, когда все поливали друг друга водою, опускали на веревках в колодцы, когда парни загоняли в костюмах целые партии девушек в реку. Разные семейные сцены, любовные и нелюбовные, вплоть до ссор и драк между супругами. А вечерами игра на гармониках, хороводы».

Став взрослым, Леонид Андреев размышлял: «Из меня всеми возможными способами готовили барича, удовлетворяя мои самые вздорные желания и отнимая всякий повод к самостоятельному достижению чего бы там ни было. Мой характер проявлялся в капризах. И теперь капризы заменяют характер. Не встречая никогда отпора в своих желаниях, я при первом же мало-мальски серьезном препятствии, не имея ни малейшей подготовки к нему, должен был позорно сложить оружие, которым оделила меня природа. Все вело меня к этому: и репетиторы, без которых я не мог и шагу сделать, и удача, сопровождавшая мои первые шаги на жизненной арене».

Учился Леонид Андреев в мужской классической гимназии, где до него школярами были Павел Якушкин, Николай Лесков, Петр Столыпин... Один из соучеников Андреева, Павел Россиев, стал очеркистом, автором повестей на темы истории православия. Несмотря на второгодничество (чаша сия не миновала и Андреева), свою гимназию Россиев называл «великолепным типом школы». Большое влияние на учеников оказал Иван Михайлович Белоруссов, который работал директором и преподавателем гимназии. Белоруссов был не только хорошим педагогом, но и признанным ученым-филологом, автором книг, сделавшим его имя известным всей просвещенной России. Бывший школяр два десятка лет спустя называл его тонким филологом, великолепно знавшим все изгибы латинского и греческого языков, оживлявшим их на уроках. В то же время Белоруссов был истинным поборником чистоты русского языка. Вместе с учениками он молился перед началом занятий, пел в церковном хоре, был по-суворовски прост и сердечен.

Добрые слова нашлись у Россиева и для того, чтобы рассказать о великолепном знатоке географии и истории Николае Ивановиче Горшечникове, о словеснике-добряке Николае Андреевиче Вербицком, других учителях Орловской гимназии. Но миром его, конечно же, навсегда остался Белоруссов. Павел Россиев писал:

«Помнятся живые, осмысленные уроки на которых улавливались, с помощью Ивана Михайловича, все изгибы и извивы “божественной эллинской речи”, ее полнзвучность и полновесность, и когда мы чувствовали в гомеровских рапсодиях музыкальную характерность языка наших былин; мы углублялись в тонкость Ксенофонтова “Анабазиса” и над какой-то частицей, недостойной ударения, а только придыхания, останавливались с той серьезностью, с какой ботаник останавливается над клеткой или живой протоплазмой. Искусный преподаватель по-своему, кратко и удобопонятно предлагал синтаксические и грамматические мудрости... Для Белоруссова русский язык стал солнцем, которое не только согревало его душу, но и являлось источником литературно-педагогической энергии, а эта, в свою очередь, была источником его интеллектуальной жизни».

В гимназии Леониду Андрееву, защитнику бедных и убогих, дали прозвище «герцог». Плохо разбирался в математике, зато с азартом писал сочинения для тех однокашников, которые помогали ему решать уравнения. А первым писателем, с которым довелось общаться Леониду, стал учитель Вербицкий, временами печатавший очерки в охотничьих журналах. Гимназист Михаил Ольгин, бывавший вместе с Андреевым по приглашению учителя у него дома, вспоминал: «Николай Андреевич радушно беседовал с нами, угощал чаем с пирожными... За чаем хороший старик Николай Андреевич читал нам свои рассказы, а затем прослушивал мои стихотворения и наброски Леонида задававшихся классу сочинений, указывал нам на промахи и недостатки в наших произведениях. При этом он навсегда просил нас не терять связи с ним и по окончании гимназии писать ему, когда мы “заделаемся” студентами. Иногда Леонид вступал в спор с Вербицким, поражая его не по-гимназически заумными рассуждениями. Вербицкому это нравилось, как нравилась и оригинальность выводов и умозаключений Леонида».

А другому учителю Андреев в 1902 году подарил сборник «Рассказы» с дарственной надписью: «Николаю Ивановичу Горшечникову с благодарностью за редкие, хорошие минуты, проведенные в гимназии на уроках истории, от прежнего ученика Леонида Андреева».

В «Автобиографической справке» Леонид Андреев рассказал о том, что «чуть ли не с самого младенчества чувствовал страстное влечение к живописи. Рисовал много (первой учительницей была мать, которая держала карандаш в моих руках); но так как в Орле ни школ, ни настоящих учителей не было, то все дело ограничивалось бесплодным дилетантизмом. Бывали удачные рисунки и портреты, за которые меня хвалили, а учителя гимназии советовали немедленно ехать в академию (обычная форма совета была такова: чем сидеть на камчатке и протирать парту, поезжайте-ка... и т. д.), но еще чаще бывали неудачи, и во всем, что я рисовал, чувствовалось отсутствие школы, иногда простая неграмотность. Натуры я не любил и всегда рисовал из головы, впадая временами в комические ошибки: до сих пор... вспоминаю лошадь, у которой по какой-то нелепой случайности оказалось всего три ноги. Все уже кончил, “оттушевал” бока, похожие на колбасу, а четвертую ногу позабыл. И только посторонний критический взгляд открыл мне мою позорную забывчивость. И до чего было обидно, прекрасно оттушеванной колбасы никто не заметил, а над ногою все смеялись. Фантазировал я бесконечно: был у меня огромный альбом “рож”, штук триста...».

Одним их первых в Орле увлекся велосипедной ездой. А еще с новой силой вспыхнул интерес к книгам. В круг чтения, помимо Жюль Верна, Майна Рида, вошли Пушкин, Лермонтов, Надсон, Гаршин, Белинский, Добролюбов, Писарев, Герцен, Толстой, Шекспир, Гете, Байрон, Диккенс, По... Плюс научные труды Дарвина, Бокля, философия Шопенгауэра и Гартмана. «Моментом сознательного отношения к книге, — писал он в «Автобиографической справке», — считаю тот, когда впервые прочел Писарева, а вскоре затем “В чем моя вера?” Толстого. Это

было в классе четвертом или пятом гимназии, и тут я сделал одновременно социологом, философом, естествоиспытателем и всем остальным».

В семнадцать лет Андреев сделал в дневнике запись, известную в пересказе литературного критика В.В. Брусянина: пообещал, что «своими писаниями разрушит и мораль и установившиеся человеческие отношения, разрушит любовь и религию». Тогда же начались бесчисленные любовные увлечения. Три покушения на самоубийство, запойное пьянство... «Как для одних необходимы слова, как для других необходим труд или борьба, так для меня необходима любовь, — записал он в дневнике. — Как воздух, как еда, как сон — любовь составляет необходимое условие моего человеческого существования».

Павел Андреев писал о той поре: «Что же касается его пьянства — другого определения я, к сожалению, не мог придумать, — то я не знаю человека, у которого такое состояние переживалось бы так бурно и так мучительно. Очень редко бывал он настроен весело, добродушен же не был никогда. Почти всегда в этом состоянии был он мрачен и буен. Первые годы его пьянства ограничивались лишь буйством и всякого рода скандалами, впоследствии же к этим буйствам присоединились постоянные попытки к самоубийству, причинение себе ран первым же попавшимся оружием, будь то нож или вилка, все равно... После таких припадков, он по целым дням, а иногда и неделям, не выходя, пролеживал у себя в комнате за книгой. Чувство угрызения совести, стыда не позволяли ему даже показываться на глаза, и после того стоило всегда большого труда снова вернуть его к жизни. Иногда и сам он боялся, что сопьется совсем. Грустно то, что в эти моменты он ни у кого не находил поддержки. А сколько в то время спилось молодежи, сколько покончило с собой!»

Андреев признавался тогда: «В Бога, т.е. в Иисуса Христа, откровение и прочее я не верю, — но существование какой-то высшей силы признаю, причем этой высшей силы я несколько не боюсь, не люблю и не почитаю; а только признаю нашу зависимость от нее: но чтобы она непосредственно влияла на наши поступки — не думаю. Конечно, богослужение, всю вообще обрядность — начиная от крестного знамения и кончая причастием — я считаю величайшею чужью и с искренним удивлением смотрю на людей, способных верить и придавать значение этому. Другими словами, в отношении религии я полнейший индифферент».

Позднее он признает и другое: отрицательное решение вопроса о Боге было сделано под влиянием книг, «с мальчишеской самоуверенностью и безапелляционностью».

Вот еще строки из дневника будущего писателя: «Случается, сидишь иной раз в классе, глядишь на других и думаешь: а совсем я на них не похож, все, по крайней мере, такие обыкновенные, такие всем, и в особенности собой, довольные, а я нет, не то, что они, есть во мне что-то, что отличает, выделяет меня из среды их, но это что-то один лишь я знаю и сидит это что-то глубоко во мне, — так глубоко, что и сам хорошо разобрать его не могу, — а снаружи я такой же, как и они: так же глупо остро; так же говорю сальности и пошлости, так же как будто интересуешься тем, что вот сейчас меня спросят, и я не отвечу — одним словом, ничем отличаюсь от всех и, может быть, кто-нибудь из них так же испытующе смотрит на меня и думает: какой же ты, братец, простой, пошлый и ординарный человек!»

После смерти отца в многодетную (шесть детей) семью Андреевых пришла суровая нужда. Теперь они занимали меньшую часть дома, остальное же сдали внаем. «Наше положение становится окончательно скверным, — писал Леонид летом 1890 года, — ссуда из Управы, на которую мы рассчитывали для поправления своих обстоятельств, ухнула, так что нам приходится закладывать сегодня иконы, потому что больше нечего. Иначе завтра голодать придется». Отправились на продажу и любимые книги.

Повздоривший с соседом Кутеповым, Леонид ожидал сурового наказания от гимназического начальства. Но директор И.М. Белоруссов стал на защиту ученика, дело обошлось штрафом... Проблема же заключалась в том, что четверка по поведению в аттестате закрывала выпускнику Андрееву путь к поступлению в Петербургский университет, в город, где училась его возлюбленная Зиночка Сибилова.

Но есть в жизни чудеса! Известный всем хулиган и гуляка в итоге заслужил отличную оценку по поведению. «Зинулочка, ура! — написал Андреев пассив в северную столицу. — Нынче утром имел неизреченное счастье получить из рук Ив. Михалыча аттестат, милый дорогой, бесценный аттестат. И нужно отнести к чести нашего педагогического Совета вообще и И.М., в частности, что этот аттестат не запятнан четверкой поведения: поведение отличное... Настроение изумительное: спать не могу, нервы как струны: хочется двигаться, шуметь и т.д.» Подпись: «Твой студент Петербургского Императорского Университета Л. Андреев. Аттестат, ура!»

Впереди были открытие мира и большая жизнь, стихия творчества, богатство и слава. А потом революция и фактическое изгнание из России. За год до безвременной смерти он вспоминал Орел: «В пальто нараспашку, в шитой рубашке, иду по Очному мосту и смотрю на мелькающие носки блестящих, собственноручно начищенных сапог. Вечерок, внизу разлившаяся полноводная река. И сапоги красивые, и сам я красив — а навстречу плывут тоже молодые и красивые, и где-то церковный звон. И в каждую я влюблен, и каждая смотрит на меня, но глаза у меня вниз или прямо перед собою и вид строг. От застенчивости и самолюбия, от полного чувства, что я красив и на меня смотрят, — я всегда так ходил: глаза перед собою и выше. Вероятно, я был очень красив, об этом сочинялись местные легенды. Потом, так и один прохажив вечерние весенние часы, несую свою красоту на домашнюю Пушкирную — и чувствую с каждым шагом, как все более ненужною становится эта красота. И вот я совсем один, а в душе любви и печали на тысячу поэтов, на целую женскую гимназию! Это начинается мое странное одиночество.

Или: шатаюсь один по весенним полям, под жаворонками. Вдали сады, немного крыш и церковные главы, то синие, то горящие золотом на солнце, и оттуда идет мягкий колокольный гул: это Орел и пасхальный звон. Войдешь с безлюдного поля на одну из окраинных улиц — что за веселье! Красные рубахи, говор, ребячий крик, перепуганные, но счастливые куры. Играют в лодыжки (бабки), где-то гармоника и совсем близко беспорядочный, но залихватски веселый трезвон. Сапоги у меня пыльные и в ногах усталость, но так приятно быть путником среди разного, то одному быть в зеленеющем поле, то быстро проходить сквозь весенне-праздничное человечество».

...На 2-й Пушкирной улице в Орле и поныне стоит дом Андреевых. Сколько бурь промчалось над родовым гнездом: войны, революции, цензурные «забвения» и «вычеркивания из учебников». Теперь в старом доме устроен музей писателя — единственный в мире. Ко дню рождения «буйного орловца» приурочивают научные конференции, театрализованные праздники улицы, народные гуляния.

Возрожден храм Михаила Архангела, где крестили будущего писателя. Под звон колоколов свежее золото огромного купола тысячами блесков отражается в весеннем потоке реки Орлик. Так и проза Леонида Андреева бесчисленным множеством образов, красок и нот по-прежнему царит и поет над водами и зеленью его родной сторонки.

